

Дмитрий Константинов

Соловецкая исповедь



Дмитрий Константинов

Соловецкая исповедь

<https://litres.ru/74687344>

SelfPub; 2026

Аннотация

Произведение раскрывает трагический конфликт между верой и идеологией через отношения отца и сына. Протоиерей Никодим, верный своим принципам, отказывается отречься от сана и веры, за что подвергается преследованиям. Его сын Алексей, вступивший в партию, оказывается между коммунистической идеологией и любовью к отцу.

Автор показывает внутреннюю борьбу героев, их духовные искания. Особое внимание уделяется теме сохранения человечности в бесчеловечных условиях, верности принципам и силе отцовской любви.

Роман охватывает период с Рождества 1941 года до событий на Соловках, показывая влияние исторических событий на судьбы людей. Через личные истории раскрывается картина эпохи, где переплетаются трагедия, вера и надежда.

Произведение отличается глубоким психологизмом, достоверностью исторических деталей и искренностью в раскрытии духовных тем. Это история о том, как в эпоху великих потрясений человек сохраняет душу и верность принципам, несмотря на давление обстоятельств.

Содержание

Глава первая. Рождественский сорок первый год	4
Глава вторая. Ходатайство	12
Глава третья. Письмо в Архангельск	20
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Дмитрий Константинов

Соловецкая исповедь

Глава первая. Рождественский сорок первый год

Снег шёл с самого Рождества и не переставал три дня, и протоиерей Никодим Снегирёв ходил по дому от окна к окну, как ходят по храму, когда ждут архиерея.

— Матушка, — сказал он, не оборачиваясь, — а ты слышала, что в Архангельске теперь командуют матросы?

Вера Фоминична, худая, с глазами кроткими и усталыми, продолжала мешать тесто. Она слышала, что в Архангельске теперь командуют матросы, и ещё слышала, что владыку расстреляли в декабре, у самой заставы, и тело так и не отдали родным. Но она понимала: муж не спрашивает. Он с утра уже всё узнал, от чибака почтового и от парня на посылках, и теперь ходит по дому, и каждое слово, которое он произносит, — это уже проповедь, просто без амвона. Она знала его тридцать два года и умела слушать то, чего он не говорил.

— Слышала, — сказала она.

— Командуют матросы, — повторил Никодим и остановился у окна. За стеклом стояла белая пустыня: сугробы, за-

бор, пустая изба дьякона Гавриила, уехавшего ещё в октябре и не написавшего ни строчки. — Вся Россия объезжает на матросском коне. А ты скажи — чей это конь?

Он не ждал ответа. Он вёл с Россией долгий разговор, начавшийся, по-видимому, ещё до её рождения, и Вера Фоминична давно перестала быть в нём собеседницей — она была прихожанкой.

В храме под Рождество собралось меньше людей, чем когда бы то ни было. Иные ушли в город, иные просто не пошли — не из страха даже, а из какой-то стыдливой растерянности, как стыдятся навещать больного, от которого уже не ждут выздоровления. Никодим отслужил литургию так, как служил всегда: ровно, мощно, каждым словом вбивая её в камень. Голос у него был низкий, с хрипотцой, голос человека, который тридцать лет кричал через всю площадь: и этот голос сейчас, в опустевшем храме, казался голосом, обращённым не к людям — к пустоте, в упор.

А после литургии, когда народ уже разошёлся, он остался на амвоне и сказал им — тем немногим, кто ещё стоял у свечных ящиков:

— Не бойся, малое стадо. Вчера владыку поставили к стенке, а сегодня спрашивают: снимешь крест? Сниму, говорят, только вот рука не поднимется, потому что рука у меня не моя, а рука Церкви. — Он помолчал и добавил тихо, почти просто: — Я вам врать не буду: тяжёлые времена наступили. Но пастыря, который побежал, не бывает. Бывает

овца, которая сама себя увела.

Эти слова потом передавали из избы в избу всю неделю. Никто ещё не знал, что через месяц за них придут.

Пришли в феврале, когда по улицам уже звенела настёжь, — трое, в солдатских шинелях поверх ватников, с винтовками, которые держали как держат хозяйственную утварь: привычно и без интереса. Один был местный, Прохор Косицын, прежде считавшийся у Никодима чуть ли не в сыновьях: тот девять лет греб его козла с сеновала и приводил к причастию. Теперь Прохор стоял поодаль, у плетня, и не смотрел в глаза, и это было хуже всего, потому что худо от чужих — это терпимо, а худо от своих — это как найти у себя в сердце дыру, которую ты сам проглядел.

Старший из пришедших, из приехавших, с записной книжкой и очками на красном носу, объяснил коротко: согласно предписанию исполкома, всякому и каждому, а особенно лицам духовного звания, надлежит явиться на собрание граждан, где будет решён вопрос о снятии с храмов крестов и колоколов, как орудий эксплуатации и одурманивания трудового народа. Явиться надлежит с документами. Отказ будет рассмотрен как саботаж.

— Собрание у вас когда? — спросил Никодим.

— В среду, — сказал очкастый и, помолчав, добавил почти извиняющимся тоном: — В храме вашем. Чтобы народу сразу.

— Хорошо, — сказал Никодим. — В среду.

В ту же ночь он разбудил сына.

Сын — Алексей, двадцать семь лет, приехавший из Архангельска за две недели до того, худой, бледный от канцелярской стужи, спящий теперь в детской, в той самой кровати с точёными столбиками, где он спал мальчиком, — скинул одеяло и сел, прежде чем отец закончил стучать. Он всегда садился, прежде чем отец заканчивал стучать; это была выучка двадцати лет.

— Ты не спишь, — сказал Никодим. Это не было вопросом.

— Читаю.

Отец зажёл свечу — электричества в селе не было и, по его убеждению, не будет до самого конца времён — и сел на край кровати. Алексей увидел вдруг, что отец постарел. Не за эти месяцы даже — за какой-то один, последний. Морщины у глаз легли так глубоко, что казались не кожей, а трещинами в старой иконе, которую возят по ярмаркам и потому бьют о косяки.

— Завтра собрание, — сказал отец. — Меня будут спрашивать, признаю ли я новую власть. И ты будешь там. Ты член партии, я знаю. Мальчишки доносили мне ещё в декабре, и я, представь себе, не стал спорить. Я не спорил, Алёша, потому что я не хочу узнавать о собственном сыне из доноса. Я хочу, чтобы ты сам мне сказал.

— Я в партии с девятнадцатого года, батюшка. В марте. Ты знал это.

— Я знал это так, как знают, что за стеной ветрено. Знать и слышать — не одно и то же. — Никодим поднял на него глаза, и в них было столько обычного, семейного, отеческого, что Алексей отвернулся. — Скажи мне одно. Ты веришь в Бога?

В комнате стало так тихо, что было слышно, как по трубе воеет февральский ветер, гоня дым обратно в печь.

— Я верю в то, что люди веками жили во тьме, — сказал Алексей наконец, — и что теперь им дают свет. Я верю в справедливость, батюшка. Землю — крестьянам, мир — народам, всё, что положено, я говорю это с трибуны, я в это верю. —

— Я не про трибуну спрашиваю, — тихо сказал отец. — Я про ночь спрашиваю. Когда ты один и тебе страшно, к кому ты идёшь?

И вот тут — вот в этом месте, на котором потом, через три года, на лесоповале, Алексей будет исповедоваться перед старцем Пименом, — вот здесь произошла беда, которая определила всё: Алексей промолчал. Он не соврал и не сказал правды. Он сидел в детской, в своей мальчишеской кровати, перед отцом со свечой, и молчал так долго, что свеча успела потечь, и воск капнул на одеяло.

А отец встал. Он встал не гневно — устало, как встаёт с постели больной, — и перекрестил сына на сон грядущий, по-старому, двойным крестным знаменiem, вопреки всему, что говорили теперь в семинариях, и сказал:

— Спи. Я на собрании скажу, что сниму крест, когда вы сломаете мне руку. Вторую руку я вам, к сожалению, тоже оставлю — я ими крещу.

Он ушёл, и Алексей долго лежал без сна, глядя на потёк воск, и думал с отчаянной ясностью, какой не было у него никогда ни в семинарии, ни в Архангельске, ни на одном заседании: он мог соврать отцу. Он умел врать трибунам, отчётам, сослуживцам. Но отцу врать он не умел, потому что отец единственный во вселенной знал его прежнего, того, кто в девять лет плакал на панихиде по дедушке не от горя даже, а от красоты пения, — и пока этот человек знал его прежнего, Алексей не мог стать новым до конца. Он был меж двух огней, и оба огня были любовью, и от этого жгло сильнее, чем от любого огня вообще.

Собрание в среду открыли в храме, сняв перед этим у входа табличку «Богослужение» и повесив «Общее собрание граждан». Народ набился битком — пришли и старики, и бабы, и ребятишки, которых матери держали за рукава, чтобы не лезли. На клиросе устроили президиум. Очкастый зачитал бумагу. Потом спросили отца.

Никодим вышел на амвон — на тот самый, где вчера проповедовал, — и подождал, пока стихнет. И когда стихло, сказал:

— Граждане. Вы меня знаете тридцать лет. Я крестил каждого третьего из вас, венчал почти всех взрослых и отпел две эпидемии. Я скажу вам сейчас то, что должен сказать, а вы

потом решайте, как вам угодно. — Он тяжело обвёл глазами храм. — Крест — это орудие казни, это верно, вы правы, товарищи. На кресте казнили. Но казнили Того, Кто, будучи казнён, прощал казнивших. И если вы теперь снимете кресты и объявите, что вера — это дурман, я вам не перечить буду, потому что силой веру не удержишь: силой можно удержать только пустой дом. Но спрашивайте лучше не кресты, спрашивайте меня. Вот я здесь. Снимайте меня.

В храме стало так тихо, что где-то на хорах простукнула капель — по избушкам, которые он, Никодим, строил своими руками.

— Снимете меня — и обрядитесь с меня рясу и раздайте её бабам на тряпки, я не запирую. Но крест вы с меня снимите сами. Я не подниму рук. — Он снял с шеи крест — тяжёлый, серебряный, дедовский — и положил на аналой, перед президиумом, лицом вниз, чтобы распятие смотрело в доски. — Вот он. Берите. Только запомните, граждане, одно: когда в стране отнимают у людей последнюю тайну, вы теперь всё узнаете — что в Україні, что в Питере, что у соседа за спиной, — помните: тайну нельзя отнять. Её можно только отдать. И тот, кто отдал, — уже не человек, а функция.

Его схватили в ту же ночь, за церковной оградой, аккуратно, без крика — как берут того, кто не бежит. Увезли в уезд. Вера Фоминична стояла на крыльце, пока не стемнело, потом вошла, перекрестила пустой надворный простор, прибрала самовар и, поставив чашки, сказала сыну, который

стоял посреди горницы, не зная, куда деть руки:

— Ты же его знаешь. Он не сдастся. — Она помолчала. — И ты не сдашься. Вы оба упрямы, как две ваши дедовские лошади, которых пахарь сам вожжами бил, чтобы разъехались.

Алексей ушёл из дома за полночь и пошёл через поле к уезду — подавать ходатайство, хлопотать, использовать всё, что имел: партийный билет, знакомства в исполкоме, право говорить громко. Он шёл по снегу под огромными февральскими звёздами и понимал, что идёт не спасать отца, а доказывать — неважно кому, хоть этим звёздам, — что он не предатель. Понимал — и шёл, потому что не идти было не в его природе. А позади, за полем, оставались тёмный храм, потухшие окна избы и мать, которая одна, в пустой горнице, молилась не за мужа и не за сына, а за ту точку, где они ещё были вместе, — и не знала, что этой точки больше нет, и что искать её теперь придётся семь лет, и что искать её будут двое, которые разъехались, как разъехались бы две дедовские лошади, если б пахарь разом выпустил обе вожжи.

Глава вторая. Ходатайство

В уездный центр — он назывался Холмогорка в просторечии, а по бумагам: город Холмогорский уезд — Алексей добирался сутки: пешком до станции, потом товарным, потом опять пешком. Вез с собой, кроме тёплых рукавиц и полткрышки сала от матери, три бумажных листа: характеристику из укома, выписку о пребывании в должности инструктора и одно письмо — короткое, на четвертушке, от уездного военкома, с которым он разошёлся в марте по делу учёта бывших офицеров и который, вопреки всему, был человеком скорее честным, чем пугливым. Письмо просило «принять к сведению, что т. Снегирёв А. Н. зарекомендовал себя работником полезным и идейно выдержанным, несмотря на происхождение».

«Несмотря на происхождение» — эту формулу Алексей прочёл двадцать раз за дорогу и каждый раз чувствовал, как она действует на него сильнее, чем ругань. В ругани хотя бы есть участие. В формуле — нет.

Уполномоченный по церковным делам при уисполкоме принимал в бывшем доме купца Ершова, где до революции торговали мануфактурой, а теперь стояли столы, папки и печка с вечно чадающей трубой. Уполномоченного звали Самойло Вениаминович Крамер, лет ему было около сорока, из студентов, не докативших до диплома; в очках, с манжетами,

которые он грыз, когда думал.

Алексей положил на стол три листа и изложил дело: арестованный протоиерей Снегирёв Н. П., отец заявителя, деяние — публичная агитация против снятия крестов, агитация, по мнению заявителя, есть скорее неумолимое красноречие, чем контрреволюция; заявление — прошение о переводе меры пресечения на подписку о невыезде, либо, в крайнем случае, о принудительных работах без лишения свободы; обязательства заявителя — личный надзор, полная ответственность перед органами.

Крамер выслушал всё, не перебивая. Потом взял характеристику, пробежал глазами, вернул. Потом сказал:

— Вы в партии с девятнадцатого. С женой купеческой дочери знакомы, жили в Архангельске на Соборной, это тоже на арестном листе отражено. И просите за отца, который на амбоне сказал — я сейчас, т. Снегирёв, вам не из дела прочту, а из копии стенограммы: — «тайну нельзя отнять, её можно только отдать, и тот, кто отдал, — уже не человек, а функция». — Крамер снял очки и стал полировать их рукавом. — Тонко. Признаться, я слышал лучше и от худших людей, но тонко. Вы слышали это сами?

— Я был на собрании.

— Значит, слышали. И не возразили.

— Меня никто не давал слова.

— Товарищи на собрании редко дают слово сыновьям, — сказал Крамер тем же ровным тоном. — Их спрашивают по-

том. В другом месте. — Он надел очки и посмотрел на Алексея впервые за весь разговор прямо. — Теперь я скажу вам то, что должен был сказать в первую минуту, но ждал, пока вы кончите говорить, потому что слушать собеседника до конца — это тоже функция, товарищ Снегирёв, и не самая дурная. В вашем деле, — он постучал пальцем по папке, — есть одна строка, которая сильнее вашего письма, вашего военкома и вашего личного обаяния. Эта строка: «сын поповский, а в партии». Так о вас писали двое. Не буду называть фамилий, а то вы, партийцы, начинаете потом жечь друг друга, а я этим делом сыт по горло. Так вот: строка эта означает, что ваша просьба будет рассмотрена с пристрастием, а пристрастием, простите, у нас сейчас ведают не люди, а инструкции.

— Что в инструкциях?

— Что отказ от отца — засчитывается.

— Как «засчитывается»?

— Как идейная устойчивость. Проявленная. На конкретном случае. — Крамер встал и пошёл к окну, потому что за окном падал снег, а на снег всегда хорошо смотреть, когда говоришь скверные вещи. — Я вам, т. Снегирёв, скажу вещь, которую говорить не положено, и вы не записывайте её, потому что у меня жена и двое, а вы, между прочим, инструктор, и меня потом будет судить ваш комиссар. Ваш отец — старый человек. Ему пятьдесят восемь. Он проповедовал сорок лет. Он не изменится, вы это знаете лучше меня, потому

что вы его сын, а не я. Теперь решите сами: кто в этой комнате вам нужен — я, который может поставить резолюцию, или вы, который может, если захочет, пойти и выступить в газете против своего отца, и тогда ваш отец вам не понадобится, а понадобятся вы. Я, понимаю, не советую. Я констатирую механику. Механика простая: отказ — засчитывается. Любовь — становится уликой.

Алексей сидел очень прямо и смотрел на полткрышки сала, которую зачем-то вынул из сумки и держал на коленях, как держат котёнка.

— Вы мне не враг, — сказал он наконец.

— Я вам друг, насколько это возможно между людьми, сидящими по разные стороны стола, — сказал Крамер. — И потому говорю: поставлю вам резолюцию «прошение удовлетворено в части смягчения меры пресечения; направить заключённого на работы по совету». Это лучший исход, какой даёт ваша бумага. Третий лист — от военкома — я, из человеколюбия, выну из дела и положу вам в карман, когда вы будете уходить. Потому что в деле он вам повредит, а в кармане — нет. А теперь идите. И, товарищ Снегирёв... — Он повернулся от окна. — Снега у нас выпадет много. Вы бы в Архангельск вернулись, пока не стаяло. В уезде сейчас судят без пользы.

Алексей вышел. На ходу он обнаружил в кармане пальто свой третий лист, аккуратно сложенный вчетверо, и, не останавливаясь, вернул его в карман, потому что выбросить бы-

ло невозможно, а смотреть — не нужно.

Три дня он проводил в уезде как в пустоте: ходил в баню, на почту, к знакомому следователю, с которым познакомился в двадцатом, отбивая студентов от расстрела за «антисоветский кружок», — ходил не потому, что нужно, а потому что нельзя было стоять. На четвёртый день его вызвали в особый отдел — но не для допроса, а для беседы, которую проводил очень молодой, с «иконописным» лицом, товарищ, назвавшийся Шпаковым. Шпаков положил перед ним протокол допроса его отца, прочитанный заранее до единой запятой, и спросил:

— Товарищ Снегирёв, вы от родителя в девятом году получали благословение на поступление в семинарию?

— Получал.

— А в двадцать первом, когда он требовал от вас публичного покаяния за вступление в партию, он благословения снимал?

Алексей понял, что вопрос ловчий, — но не понял, куда ведёт сеть, и ответил как на ловушку:

— Он не снимал и не давал. Он молчал.

— Молчал, — повторил Шпаков и с удовольствием, каким дети ставят крестик в тетради, обвёл в протоколе строчку. — Молчание — это то, что мы называем «уклонением». За уклонение, т. Снегирёв, посадить нельзя, но отталкиваться в деле можно. Вы понимаете теперь, почему я вас спрашиваю?

— Понимаю, — сказал Алексей, и ему впервые за неделю захотелось в храм, и это желание было так дико, что он не сразу нашёлся, как с ним быть.

Шпаков между тем достал второй лист — небольшой, сложенный вдвое — и подвинул ему через стол.

— Здесь не протокол. Здесь пожелание, чтобы вы, как сын и как партиец, известили орган о том, как реагировал ваш отец на изъятие церковных ценностей в прошлом году. Не показания — изведение. Вы же при нём жили. Или я не прав?

— Вы не правы, — сказал Алексей и взял лист, потому что брать было спокойнее, чем не брать. — Я напишу вам отзыв. Честный. Он изъятию не сопротивлялся, он сопротивлялся кресту. Это разные вещи, и вы это знаете.

— Я знаю, — сказал Шпаков без выражения. — А вы напишите так, как напишете. Мы прочтём то, что нам нужно, в любом случае: люди, читающие бумаги, как вы знаете, товарищ Снегирёв, читают не строки, а недостающее.

Он вернулся в село вечером, в оттепель, с мокрым снегом, который падал уже не как снег, а как вода, не долетевшая до земли. Дома его встретила Вера Фоминична — одна, при свече, в тёмном платке; смотрела на него так, как смотрят на вернувшегося с войны, у которого, очевидно, не всё вернулось.

— Ну? — сказала она.

— Отец будет в работах. При советском хозяйстве. Без

охраны. Под присмотром уездной канцелярии. Это лучший исход, какой дала бумага.

Мать кивнула. Потом долго молчала и вдруг сказала — тихо, глядя не на него, а в сторону, в окно, за которым таяло поле:

— Алёшенька. Я тебя знаю с рождения. Ты не сказал мне, чем ты заплатил.

— Я не платил, мама.

— Ты же не мог не платить, — сказала она всё так же тихо и ровно, и это «не мог не платить» звучало в её устах не обвинением, а страшной, чистой, материнской математикой. — Ты человек, а человеку за человека платят всегда.

Алексей встал и вышел на крыльцо, потому что не мог сидеть под этим взглядом, и долго стоял, и снег таял у него на плечах, и он слышал, как за его спиной, в избе, мать, не поднимаясь с лавки, поёт ту из вечерних молитв, которую пела всегда, когда не знала, что делать, — ту, что начинается: «Да воскреснет Бог...» — и у которой слово «воскреснет» стояло не о Пасхе, а о них всех.

В ту же ночь Алексей достал из узла бумагу, перо и чернила и написал Шпакову отзыв, который обещал: честный. Он писал его полтора часа — вычёркивая, зачёркивая, начиная заново, — и когда кончил, перед ним лежал лист, на котором ни разу не было сказано: «мой отец». Лист начинался словами: «Протоиерей Снегирёв Н. П. в бытность мою на собрании отрёкся от креста в протест против глумления над

святыней, не против советской власти, а против одурманивания, о чём свидетелями были все граждане» — и кончился словами: «Прошу орган отнестись к нему как к старику, а не как к делу». Он перечитал, хотел порвать, не порвал; хотел переписать, не переписал; сложил вчетверо, положил в конверт и, прежде чем заклеить, взял со стола лампу и вынес её в переднюю — так, чтобы свет не падал на лист, — и сидел в потёмках на табурете, пока не рассвело.

Потом встал, оделся, закрыл конверт и понёс его в уезд — пешком, до станции, восемнадцать вёрст, — чтобы не везти с собой лишний день, и всю дорогу восемнадцать вёрст чувствовал, как в кармане его пальто, там же, где лежал военкомский лист, лежит и этот, четвёртый, и оба листа, военкомский и этот, шли через поле под огромными февральскими звёздами рядом, как два дедовских коня, которых пахарь разом выпустил из одной вожжи.

Глава третья. Письмо в Архангельск

В Архангельск Алексей вернулся в конце марта, когда по реке уже трогался лёд и город пах навозом, смолой и будущей навигацией. Назначение он получил ещё в уезде: инструктор ликвидации неграмотности при уездном отделе народного образования, с разъездами по волостям. Бумага гласила «впредь до особого распоряжения», и Алексей уже знал, что эти слова означают: пока не решится его дело, он будет висеть, как висят неутверждённые люди, — годен, но не проверен.

Квартиру ему дали при школе на Кузнечихе, в бывшей квартире учителя арифметики, уехавшего в двадцатом в Финляндию и не забравшего даже граммофон. Граммофон стоял в углу, рогом к стене, и Алексей первое время вздрагивал, случайно задевая его: рог поворачивался, как ухо, и казалось, что квартира слушает.

Работа была простая и тяжёлая: вечерами, после смен, он учил читать солдаток, работниц спичечной фабрики и двух дядек-лесогонов, которым было под пятьдесят и которые стыдились буквы, как стыдятся возрастной лысины. Алексей обнаружил скоро, что умеет это дело — умеет ждать, умеет не стыдиться, умеет радоваться чужой азбуке, — и эта его

способность к терпению была, если разобраться, прямым наследством отца: отец так же ждал прихода, так же не стыдил раскольников-старообрядцев, так же радовался, когда баба Лукерья, крестившаяся всю жизнь правым, наконец выучила «Отче наш» целиком. Алексей узнал в себе отцовские руки, когда сам однажды провёл карандашом по строке чужой тетради — тем же движением, снизу вверх, — и это узнавание испугало его так, что он неделю не заходил в класс.

Прохора Косицына он встретил в мае, на пароходной пристани, и не узнал бы, если б тот сам не окликнул. Прохор служил теперь в уездной милиции — младший милиционер, форма сидела на нём как на жеребце, — и был он уже не тот парень, что греб козла с сеновала: взгляд стал прямее и тверже, речь — короче, и только у рта пролегла складка, которая у тридцатилетних бывает от сдерживаемых слов.

— Снегирёв, — сказал Прохор, и в голосе не было ни веселья, ни вины, а было то, что бывает у людей, которые знают о тебе больше, чем ты о них. — Живой. Слышал я про батюшку твоего.

— Слышал, стало быть, от тебя и доносили.

Прохор не вздрогнул. Он достал кисет, набил трубку, прикурил от спички, которую чиркнул о подошву, — и всё это время молчал, и этим молчанием ответил честнее, чем мог бы ответить словами.

— Не доносил я, — сказал он наконец. — Я в собрании стоял и молчал. А кто писал — не я, это точно, потому что

писавший знал с амвона, а я с площадки. Но ты вон что думаешь, и я это вижу, и оттого скажу тебе вещь, за которую, может, по головке не погладят. — Он затянулся. — Твой батюшка меня к причастию водил девять лет. Я в храме спал стоя, я на исповеди врал, я пел «Херувимскую» так, что пономарь меня в угол ставил. А он меня водил, Снегирёв. Каждый праздники, за ручку, как слепого через мост. И когда я теперь в милиции стою и меня посылают изымать утварь, я хожу и знаю, что я тот, кто повёл через мост слепого и сам упал в реку. И это я тебе говорю не оправдываясь. Это я говорю тебе, чтобы ты знал: в этом городе сейчас все люди — в реке. Одни упали по глупости, другие по совести, а третьи столкнули, и их больше всех.

— Ты мне это к чему говоришь? — спросил Алексей.

— К тому, что ходят слухи, будто ты за батюшку хлопотал. Через уполномоченного. И что тебе за это в Коллегии строку вписали. — Прохор выбил трубку о перила, аккуратно, не глядя на Алексея. — Если строку вписали — держись от меня подальше. Я тебе не помогу, а жизнь испортить могу, сам того не хотя. С такими, как я теперь, надо, чтоб у тебя всё было чисто. А у тебя с моего брата, с милиционерского, не выйдет чисто, покуда отец твой жив и в делах.

— Ты теперь меня стыдишься?

— Я теперь всё стыжусь, — сказал Прохор просто. — А тебя больше всего, потому что ты умный, а я всегда был дурак, и дуракам на себя надежды нет, и им легче.

Он ушёл по сходням, сапоги его гулко стучали по доскам, и Алексей стоял и думал, что вот человек, который девять лет спал в храме стоя, сказал ему о Боге больше правды, чем он сам сказал за последние пять лет, — и сказал это, не веруя, а только помня.

Письма отца стали доходить к осени.

Первое пришло в июле, из Кедрозера, где была заготовка; второе — в сентябре, из Пинеги. Письма были краткие, писанные тем самым отцовским почерком, крупным, наклонным, каким отец расписывался в метриках, и каждого слова в них было ровно столько, сколько полагается по числу строк, отпущенных заключённому на внешнее сношение: пятнадцать строк, не больше.

«Здоров. Работаю по лесу. Пилу и волоку. Лес здесь хороший, сосна вековая, жаль на дрова. Кормят досыта. Мать целовать». — Это целиком июльское.

Сентябрьское было чуть длиннее, и в нём, между «кормят досыта» и «мать целовать», стояла одна строка, от которой Алексей потом просидел полночи: «Здесь с нами нагаевец молодой, из духовных, просит говорить с ним о Евангелии, а я говорю ему о сене».

«О сене» — Алексей знал, что это значит. В лагерях, где работали ссыльные, разговор о вере был статья, и отец, выученный гонениями сороковых годов жизни, вёл теперь проповедь в виде разговора о сене, о дровах, о заточке пилы, о том, как лучше обрубать сук, — и те, кто понимал, понима-

ли, а кто не понимал, тот слышал разговор о сене. Так читали Евангелие при гонениях в первые века, и так, выходит, читали его и теперь, и от этого чтения Алексей впервые за долгое время почувствовал не стыд и не тоску, а что-то похожее на гордость, и гордость эта была стыднее стыда.

А к Рождеству пришло письмо, которое не было письмом. Конверт был обычный, штемпель ставился, бумага обычная, лагерная, синяя. Но строк было не пятнадцать, а двадцать, и строки с шестнадцатой по двадцатую были исписаны иначе: торопливо, пером, обмакнутым в карандашную стружку, — то есть так, как пишут, когда нет пера, а есть карандаш, расщеплённый и обмакнутый во что-то тёмное. Алексей прочёл эти пять строк и понял, что их нельзя было посылать, что отец их знал, что нельзя, — и послал, и это было уже не послание, а завешание, потому что человек, который понимает, что пишет не письма, а завешание, перестаёт бояться почты.

«Сын мой. Я знаю, что ты читаешь и что ты за меня не молишься, потому что ты не умеешь ещё молиться, а стыдиться не умеющего молиться я не стану. Я в церкви венчал три сотни пар и научился узнавать, какие пары сплись. Сплись — это те, кто бранится всю жизнь, а разойтись не может, потому что брань их держит крепче, чем была бы держала любовь. Так вот, мы с тобой сплись, Алёша. Я тебя браню, а разойтись не могу. Когда отпустят — приходи в храм. Не для покаяния. Для того, чтобы я тебя там увидел, где я тебя

крести. Твой отец».

Алексей положил письмо на стол, снял с гвоздя китель, вынес его в сени, потому что не мог сидеть в нём, и долго стоял в сенях в одной гимнастёрке, в двадцатиградусной стуже, и думал о том, что отец написал ему из лагеря то, чего не сказал ему дома, в детской, при свече, — и что это значит: значит, что отец дома не смог, а в лагере смог, потому что в лагере человеку, отнявшему у него крест и храм, уже нечего доказывать, а сыну — можно.

И тогда же, в ту же ночь, он сделал то, чего не делал ни разу с девятнадцатого года: сошёл с пары лестниц на задворках, во дворе закрытой Никольской церкви, где стоял теперь склад, и простоял там час, не входя, потому что входа не было, — просто стоял у стены, и стена была холодная, и сквозь неё, сквозь доски заколоченных окон, доносилось что-то от складской арифметики, пересчёт мешков, и ничего от службы не доносилось, — и всё же он стоял, и это было не мольба, а просто стояние сына у отцовского дома, в котором теперь солили огурцы.

Так кончился для Алексея двадцать второй год.

А начинался двадцать третий — и начался он телеграммой.

Телеграмму принесли десятого января, утром, в тот самый час, когда Алексей выводил в тетради какой-то работницы «мы не рабы, рабы не мы», и телеграмма гласила: «СНЕГИРЁВУ АРХАНГЕЛЬСК ЛИКБЕЗ ОСОБОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КРАМЕР».

Он развернул её — и прочёл, и перечитал, и перечитывал потом весь день и всю ночь, потому что телеграмма, состоящая из восьми слов, может быть страшнее любого протокола. Она гласила: «СНЕГИРЁВ НИКОДИМ ЭТАПИРУЕМ СОЛОВЕЦКИЙ ЛАГЕРЬ ПРИБЫТИЕ ОЖИДАЕТСЯ К ПАСХЕ УКАЗАНИЕ СРОЧНО ВЫЕХАТЬ УЕЗД ХОЛМОГОРСКИЙ».

«Соловецкий лагерь». Алексей знал, что это такое, — не понаслышке, по протоколам, которые проходили через его руки в укоме в двадцатом: туда ссылали, оттуда не возвращались. Он знал и другое: что батюшку его, старика, не могли этапировать туда за проповедь — за проповедь давали Пинегу, Кемь, но не Соловки, — а раз этапировали на Соловки, значит, дело переквалифицировали, значит, в деле отца появилась статья, которой не было в двадцать втором, значит, кто-то работал над делом отца всю зиму, и работал не в уезде, а выше, и работал, судя по срокам, не по описи, а по списку.

И в тот же час Алексей понял ещё одно, самое простое и самое страшное: он понял, что телеграмму прислал Крамер не по службе, а по-человечески, — потому что в телеграмме стояло «указание срочно выехать уезд Холмогорский», а это означало, что уполномоченный, который полгода назад вынул из дела лист военкома и положил ему в карман, теперь вынимает из дела Алексея и кладёт в карман его судьбу: вы-

езжай, Снегирёв, пока тебя не взяли вместе с отцом, выезжай из города, где о тебе известно слишком много, выезжай в тот самый уезд, где ты хлопотал и где тебя помнят, — и там, в Холмогорке, будь ты проклят и благословен, ты, может быть, ещё успеешь что-то сделать, а может быть, и ничего, но сидеть в Архангельске тебе теперь нельзя, потому что за тобой уже могут прийти, и не с телеграммой, а с нарядом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.